

Евгений Тверской

ЭТЮДЫ

Кн. II

Печатаются впервые

«ЭХО»

Регенсбург, 1948 г.

Посвящается вечной памяти
незабвенной жены.

Автор

Евгений Тверской

Э Т Ю Д Ы

Книга вторая

1. КОРОЛЬ ОПЕРЫ
2. КРАСНЫЙ ГРАФ
3. СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
4. ДОКТРИНЕРЫ

Печатаются впервые

«ЭХО»

Регенсбург, 1948 г.

Все права сохранены за автором

КОРОЛЬ ОПЕРЫ

*(Этюд с натуры и
со слов В.М. Дорошевича)*

В ресторане «Метрополь», в час дня, когда там завтракала деловая Москва первого ранга, стоял озабоченный Ф.И. Шаляпин. Его взор перебегал от столика к столику. Рассеянными кивками головы он отвечал на поклоны, которые ему предназначались. Потом быстрыми шагами Шаляпин подошел к В.М. Дорошевичу.

Шаляпин еще не был королем, но В. Дорошевич был наверху своей славы и увенчан короной «Короля фельетона». Его острого пера, хотя он и писал тупым рондо, боялись министры, общественные деятели, судебные следователи. Под влиянием пера Дорошевича, зачастую во время судебного процесса прекращались и посылались на новое судебное следствие. Слава о Дорошевиче перекинулась и за пределы России.

Его фельетоны, печатавшиеся в «Русском слове», цитировались влиятельной европейской и американской печатью.

— Влас Михайлович, голубчик! Выручайте! — обратился Шаляпин к Дорошевичу.

— Прежде всего, садитесь. Вы завтракали?

— Нет.

— Так позавтракаем вместе. Что случилось?

— Я на седьмом небе и в то же время боюсь скатиться в преисподнюю. Я получил ангажемент в миланскую Ла Скала. Ведь из русских певцов я — первый, удостоившийся такой чести. Для нас оперных актеров это то же самое, что для вас писателей — нобелевская премия. Передо мной гамлетовский вопрос — быть, или не быть!? Потому что на свою гастроль я смотрю широко — не посрамить земли русской! Нервничаю я, Влас Михайлович. Вспоминается мне моя первая гастроль. Тогда я точно также волновался. Пел мальчишкой в церковном хоре, а потом вдруг получил ангаже-

мент в тифлисский цирк. Были выпущены широковещательные плакаты, впервые с моим именем: «Шаляпин и два оркестра музыки». Сошло хорошо. Но, Влас Михайлович, перекричать на цирковой арене духовые оркестры — одно, а триумф в Ла Скала — другое. На что-нибудь средненькое я не пойду. Или триумф, или ничего!

— Вы правы—ответил Дорошевич, Ваша гастроль — наше общее дело. Дело всего русского искусства. Мы должны Вам помочь.

— Влас Михайлович, я говорил с Вашим редактором Ф.И.Благовым. Он обещал мне содействие и посоветовал обратиться к Вам с просьбой, чтобы Вы поехали вместе со мной в Милан. Он находит, что это было бы полезно и для «Русского слова».

В.М. Дорошевич задумчиво снял с толстого носа черное роговое пенсне. Прикрепленное черным шнурком, оно упало ему на живот. Его отвисший подбородок сполз в широкий разрез стоячего крахмального воротничка. Накручивая и раскручивая на указательный палец шнурок, Дорошевич

многозначительно играл пенсне. Потом коротко пробасил своей «профундо - октавой»:

— Я еду вместе с Вами, Федор Иванович.

— Спасибо, Влас Михайлович.

— Спасибо, Вы мне скажите после завтрака, которым я Вас хочу приветствовать.

И оседлав свой нос снова пенсне, Влас Михайлович углубился в меню. В.М. Дорошевич любил вкусно поест, любил и угостить. В подборе закусок и чередовании блюд завтраков, обедов и ужинов и в выборе вин, он был непревзойденным мастером и не менее талантливым «сочинителем», чем в своих фельетонах. И не даром некоторые «сочиненные» им блюда, так и назывались «а ля Дорошевич».

Милан. Колонны уличной рекламы красовались белыми афишами, напечатанными синими и красными буквами: Театр Ла Скала. Гастроль известного русского баса Федора Шаляпина. «Мефистофель»—опера Бойто.

В номере отеля саженными шагами «измерял» площадь Шаляпин, нервно ходя из угла в угол.

Стук в дверь.

—Аванти! Наконец то, Влас Михайлович! Рассказывайте!

—Ничего утешительного. Я был в редакциях газет. Разговаривал со своими итальянскими друзьями. Всяческая поддержка Вам обещана. В Вашем таланте никто не сомневается. Но к Вашему успеху относятся скептически. «Мефистофель» Бойто в Ла Скала провалился. Советуют Вам петь «Мефистофеля» из «Фауста». Перемените оперу. Мои друзья говорят, что это еще не поздно, и что в этом отношении они Вам помогут.

—Не отступлю, Влас Михайлович. Костюми лягу, а оперы не переменю. Весь Милан полон моих афиш.

—Да поможет Вам Бог! Предварительные заметки с краткой характеристикой Вашего дарования написаны в благоприятном духе и появятся уже в сегодняшних вечерних газетах. В завтрашних утренних будут напечатаны о Вас более подробные статьи. Вы завтракали?

—Да спасибо.

Дорошевич ушел. Шаляпин остался один и снова зашагал, напевая себе

под нос:

„Как король шел на войну
В чужедальнюю страну“...

— Аванти!

— Разрешите представиться. Я—
директор клаки.

— Прошу садиться.

Сняв цилиндр и поставив его возле себя на стол, господин директор, медленно стягивая с каждого пальца по очереди, снял перчатки модного палевого цвета и, бросив их в цилиндр, продолжал:

— Через три дня Ваша гастроль. Ваш успех в наших руках. Мы провалили «Мефистофеля» Бойто. Но это не значит, что мы намерены провалить и Вас. Мы Вам поможем...

— Спасибо, господин директор. Я — в форме, голос мой звучит хорошо. Поддержав меня, Вы не ошибетесь.

— Вы меня не поняли...

Подкручивая «мышинные хвостики» своих черных нафиксатуаренных усов, директор клаки продолжал:

...наша поддержка стоит денег. Выбирайте: или 5 тысяч лир за успех, или... Ваш провал со вторичным про-

валом Бойто?

Наступила пауза. Шаляпин задумался.

—Согласен—сказал он—и не на 5 тысяч, а на 10 тысяч лир, но при моих условиях.

При этих словах у директора задрожали от удовольствия губы и завиляли по собачьи «мышинные хвостики».

—Могу я знать ваши условия?

Вынув из бокового кармана бумажник, Шаляпин отсчитал 10 тысяч лир.

—Эти деньги, сказал он—будут Ваши. Я брошу их в Ваш цилиндр. Из них пять тысяч—Ваша такса—идет на уплату моего «успеха». Пять же тысяч я плачу лично Вам. Но за то требую следующее: Вы просидите у меня минут десять. Мы с Вами будем разговаривать. Потом я начну повышать голос. Ругаться. И наконец, не по настоящему, а театрально, «выставляю» Вас за дверь. Согласны?

—О, Боже мой, конечно.

—Итак мы начинаем!

С речитатива Шаляпин, повышая голос, перешел на «форте,» потом «фортиссимо.»

В коридоре отеля начала собирать-

ся благонамеренная публика. Из шалыпинского номера отчетливо доносились итальянские ругательства. Пахнет скандалом. Потом последовал внезапный, но явственный удар кулаком по столу, а за ним, непонятные для уха итальянского слова: ... «трах, тах, тах», крепким бурлацким словом вспоминал Волгу матушку Шалыпин.

Публика в коридоре шарахнулась. Дверь номера с шумом отворилась настеж и через нее вылетел в объятия собравшихся, чуть не растянувшийся носом, господин директор клаки...

Ла Скала. Точно снег под утренними солнечными лучами, блестели под светом люстр в партере накрахмаленные манишки «синьоров» во фраках. Помахивая большими веерами, из страусовых перьев, белыми, черными и лиловыми, прикрывали свои ожемчуженные и обриллиантованные декольте «донны». Все пришли на «провал» Шалыпина. Итальянские княгини «Марии Алексеевны», вскидывая на переносицы лорнеты и озираясь вокруг, шушукались, передовая «по секрету» о скандале в отеле, учиненном «русским медведем».

Что-то будет?! Что-то будет?!

А «русский медведь» был в ударе и с первого же своего появления перед рампой Ля Скала, стал королем. И победил. Чопорный партер, забыв о «приличиях», бил в ладоши и кричал бис. Клака аплодировала руками и ногами. Вся труппа Ла Скала, при открытом занавесе аплодировала Шаляпину. Такого успеха, каким пользовался Шаляпин, история Ла Скала не помнит.

Отчеты, появившиеся в итальянских газетах о гастроли Шаляпина, были настоящим фимиамом. Но самое замечательное было в одном из них. «Мы должны, писал автор статьи, гордиться своей клакой. Подумайте. Приехал какой-то, никому неизвестный русский певец. Выступил в провалившейся опере. И не только не заплатил клаке, но директора ее вышвырнул за дверь. И что-же?... клака аплодировала, как сумасшедшая! Нет! — наша клака умеет ценить настоящее искусство! И без мзды, если действительно хорошо, она бьет в ладоши! А когда плохо — освистывает».

В своей замечательной книге «Душа и маска» Шаляпин описывает де-

буют в Ла Скала. Однако, перед читателем он показывает лишь лицевую сторону, замалчивая о подкладке. Напрасно. Зачем? Ведь, снимая «маску» бойцовского «мефистофеля», Шаляпин прячет от читателя ту добродушную и хитрую улыбку, которой он улыбнулся в зеркало себе, Шаляпину, разгримировываясь за кулисами Ла Скала. И эта улыбка — его, шаляпинская, широкая русская душа.

В купе первого класса международного о-ва спальных вагонов возвращался в родную Москву, выигравший турнир и увенчанный королевскими лаврами Ф.И. Шаляпин. От В.М. Дорошевича он не утаил своей души и рассказал ему все, как было...

Презирая толпу, жить без нее Шаляпин не мог. Как король — без верноподданных.

Как-то садически любил Шаляпин вступать в конфликты с толпой, чтобы потом ее снова покорять.

Во время пребывания Государя в Москве, в Большом театре был дан парадный спектакль — «Жизнь за Царя». Перед началом оперы Шаляпин был в нервном экстазе. При исполне-

нии гимна «Боже Царя храни», он поставил весь хор, стал и сам на колени.

Какой скандал для либеральствующей Москвы! Шаляпина студенты освистут! Но Шаляпина не освистали. Разве можно было свистать шаляпинскому Ивану Сусанину?....

Мчался экспресс событий. Война. Революция. Октябрьский переворот. Шаляпин не плелся в хвосте. Он ехал всегда поближе к паровозу, в первом вагоне.

Пришла советская власть. Шаляпин стал первым народным артистом. Но королем оставался и не перед кем не пресмыкался. Шаляпин служил только искусству. Искусство было для него всегда самоцелью. «Социальных заказов» он никогда не принимал и не выполнял...

Прага. Большой концертный зал Люцерны. Концерт Ф. И. Шаляпина. Собравшаяся публика жужжит как пчелы в улье. Большевики разрешили Шаляпину выехать в заграничное концертное турне.

Ворчали старики. Шаляпин—преда-

тель. Продался большевикам. И как еще ему позволяют разъезжать с советским паспортом. Ведь ни Франция ни Чехословакия, ни другие государства Советского Союза не признали. Вот ловкач?! Ему русские студенты покажут. Ведь это все — бывшие офицеры Добровольческой армии. Они устроят ему обструкцию!

На эстраде Шаляпин. Тот же. Настоящий и прежний. Гордый и величественный.

«Как король шел на войну
В чужедальнюю страну...»

Шаляпин — король. Он победил. Били в ладоши как в миланской Ласкала. И даже дипломаты перестали быть тайными. Французский посол перевесившись на половину своего корпуса через борт ложи, кричал Шаляпину: «Дубинушка! Дубинушка!»...

С Шаляпиным я встречался в свои гимназические годы. Конечно, это черезчур сильно сказано «встречался», точнее, здоровался за руку и шаркал локтем. В экстазе от шаляпинской победы я побежал за кулисы. Дело

было трудное, и когда я достиг недо-
стижимого, Шаляпин был уже у вы-
хода, в пальто и черной велировой
шляпе. Я напомнил ему о себе, вер-
нее, о своих родных. Небесно - голу-
бые глаза Шаляпина просияли, он
крепко пожал мне руку. Совершенно
неожиданно нас окружила толпа.

Обструкция?!

Шаляпина подхватили на руки. Ка-
чали. Потом на руках понесли. Про-
несли через весь пассаж Люцерны и
посадили в автомобиль ...

Через тринадцать лет, 13 января 1937
года, (в канун Нового Года по старо-
му стилю) Шаляпин дал свой един-
ственный концерт в Бухаресте.

Тот же король, но значительно по-
старевший и сдавший. Он не на тур-
нире, Это — добрый царь Берендей.
Сколько шарма и интимности было на
этот раз в Шаляпине. Он пел по-италь-
янски, по французски и по русски.
Разговаривал с эстрады с публикой.
Пел много и не по программе, С каким
мастерством и художественностью он
обходил рифы, которые стояли теперь
на пути его голосовых возможностей...

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает барабанщик ...

Как-то по новому, потусторонне и с мурашками по спине звучал этот романс Глинки. Левая рука — та, которая поближе к сердцу, как-то мешала Шаляпину. Она нервно цеплялась то за карман брюк, то за пуговицу белого фрачного жилета, предвещая... близкий конец. Но двенадцатый час прошел. Кончился «Ночной смотр». Публика, зачарованная Шаляпиным и пребывая в каком-то оцепенении, выдержала длинную паузу, а потом... грянули аплодисменты, разбудившие Шаляпина. Он овладел собой и снова вернулся в реальный мир.

После концерта я прошел к Шаляпину за кулисы. Встреча была светлой и радостной. По старому русскому обычаю мы расцеловались.

— Федор Иванович, я прошу Вас дать мне интервью для газет.

— С великой радостью, но когда? Сегодня никак не могу, так как по случаю нашего русского Нового Года меня решили приветствовать артисты

бухарестской Национальной оперы.
Тогда завтра.

— Когда?

— Приходите ко мне к обеду. Пообедаем вместе, у меня в номере. Наедине. Нам никто мешать не будет...

Отель «Бульвар». Федор Иванович в прекрасном настроении. На нем темно-синяя закрытая пижама с длинным поясом, совсем как русская рубашка.

Лакей хлопочет возле стола, расставляя приборы и закуски.

— Хорошо у вас живется в Бухаресте. Все дешево, а особенно еда. Обеды мне приносят из ресторана Лещенко. Прекрасные, вкусные и сытные—совсем как у Тестова в Москве.

— Это Лещенко для Вас, Федор Иванович, старается.

— Идемте к столу.

На закуску: слоеные пирожки с рыбой и рисом и к ним черная икра. Драгомировский форшмак. Потом солянка из осетрины с капорцами и оливками. На второе—жареный поро-

сенок с гречневой кашей и соленым арбузом.

— Возьмите еще кусочек поросенка. Зажарен, прямо мечта, говорит Шаляпин.

— Как Вам, Федор Иванович, удалось от советчиков избавиться?

— Да очень просто. Получив бумагу явиться в полпредство для расчета, я заявил, что заработанные за границей деньги—мои и никаких вычетов из своих гонораров на девизы для «фининспекции» я не признаю. Помилуйте, с какой радости я должен кормить тунеядцев из Коминтерна и преступников из «МОПР-а»? Баста! Хватит с меня и того, что они два раза меня в Москве разоряли. За границей — шалишь! Мне пригрозили лишением советского подданства и конфискацией имущества, находящегося в Москве. Благодарю покорно—сказал я им.—Отдал паспорт и ушел.

— Как Вы смотрите на искусство в Советском Союзе?

Какое может быть искусство без творчества? А творчества, свободного творчества в СССР нет. Оно под пя-

той и прессом коммунистической партии. Я не говорю уже о больших, которые должны выполнять «социальные заказы», но ведь даже мало-мальски маленький актер и тот не свободен. Он — марионетка, которую держат за веревочку. Он планшетка «в развитии планетного масштаба коммунистической идеологии во всем мире». Разве это искусство? Бедный Станиславский, как ни бился, на рожон лез — ничего сделать не мог. Художественный театр погиб. Немирович-Данченко был хитрее и дипломатичнее, и тоже ничего не вышло. Начал было он новое дело. Хорошее. Музыкальную комедию. Прикрыли, найдя ее «буржуазным искусством». Силы там, конечно, есть и таланты тоже, но все свежее, чище гибнет. Все перевернули. Вверх дном перевернули.

Федор Иванович стал задумчивым. Лицо — грустным. Он взял бутылку красного вина. Налил бокал мне, потом себе.

— Смотрю я на свой пройденный путь. Все как будто хорошо. А на самом деле, нет. Сделал не все, что

хотел. Помешали проклятые. Мне так хотелось создать Риголетто и не удалось. В России не успел, а за границей некогда было. Все время в разъездах. Не заметил, как постарел...

Вечерело. Через большие витринные окна шалашинского номера врывался красный, синий, зеленый и желтый свет уличной рекламы с Бульвара де Елизабет. Шел снег, и крупными мокрыми хлопьями медленно падал на асфальт...

Вокзал де Норд. Шалашина провожают. Налицо почти вся Бухарестская Национальная опера и представители мира искусств.

Ко мне обращается Нина Б.—первая ученица и гордость Бухарестской консерватории по классу рояля. Она нежно обнимает букет красивых пунцовых роз.

—Прошу Вас, представьте меня Федору Ивановичу.

Мы подходим. Нина Б. вручает свои розы. Вероятно, она купила их на последние деньги.

—Спасибо, мадемуазель. Разрешите Вас поцеловать.

В проводах всегда есть что-то

грустное, но на этот раз они были особенно грустны. Только Нина Б. молодая—у нее все впереди, радостно сияла от шаляпинского поцелуя. По дороге домой она мне сказала:

—Вы подумайте, поцеловал прямо в губы, кто—Шаляпин! Да я теперь неделю умываться не буду!

Шаляпин уехал. Уехал навсегда. Вскоре после Бухарестского концерта [кажется, это был его последний концерт] он умер.

Умер король. Король оперы.

Хоронили Шаляпина в Париже. Ему были устроены национальные похороны. Хоронили как президента. Нет, как короля. Возле Гранд-Опера, задрапированной в траур, была отслужена заупокойная лития, во время которой все движение на Больших Бульварах было приостановлено. Тысячи народа шли за гробом Шаляпина, утопавшим в цветах. Тысячи венков от различных делегаций и один от правительства Французской Республики. Ни одного артиста в мире, после Сарры Бернар, не хоронили так, как русского Шаляпина. Похоронили его на

Пер ля Шез, там, там где похоронен
весь цвет французского искусства и
литературы. Со смертью Шаляпина
умер и «Дон-Кихот», написанный Мас-
сенэ для Шаляпина.

Да, умер король. Король оперы.
Но образ его жив. Гений его—вечен.

Альпы. 1947 г.

КРАСНЫЙ ГРАФ

(Этюд об Алексее Толстом
—советском)

Посвящается К.Н. Прянишниковой.

„У телефона дворецкий. Да, Борвиха. Графа нет дома. Их сиятельство уехали на заседание ВКП(б)“.

Конечно, это анекдот, но замечательно метко характеризующий положение Алексея Толстого. В компартии Алексей Николаевич не состоял, но сателлитом ее был.

Борвиха. Воспоминания юных дней. Прелестный уголок над Москва-рекой. Деревушка в каких-нибудь двадцать, тридцать дворов, утопавших в зелени, а весной в яблочно-вишневом цвету. За пыльной, широкой не по деревушке, дорогой начинался сосновый бор. Стройные сосны — точно хоругви в крестном ходу, возвышались над всем и упирались прямо в небесную лазурь. От малейшего ветерка их клонившиеся маковки звенели. Слышался сосен

перезвон. Словно арфа неведомая, где-то играла в лесу.

Борвихинские жили хорошо. Их главным занятием был извозный промысел. И поэтому все хозяйство свое вели «под лошадей». Москва-река заливала луга. Сеяли клевер, да овес. Извозчиками ездили в Москве. Некий Иван Мартыныч держал более десяти выездов. Ездил извозчиком и сам. Однажды, как-то под Рождество выехал он в Борвиху из Москвы и сильно, как он рассказывал, озяб, что-то в середине замерзло. С тех пор никак согреться Иван Мартыныч не мог. Даже летом не расставался он с легеньким полушубком, беличьим мехом подбитым.

Изба Ивана Мартыныча находилась на самом высоком месте. А лавочка, на которой он любил сиживать, греясь на солнышке, была настоящей обсерваторской вышкой. В летний прозрачный день, как на ладони был виден знаменитый подмосковный белый «Версаль-дворец» князя Юсупова-Сумарокова-Эльстон, четко очерченный на фоне темной, сочной, совсем «крымовской» (по имени худ. Кры-

мова) зелени. Виднелись и границы села Ильинского, имения великого князя Дмитрия Павловича.

Иван Мартыныч был гостеприимен. Многие дачники шли к нему послушать по вечерам трели соловьиные, раздававшиеся под аккомпанимент лягушечьего хора, из прибережной ольхи.

Назойливый дергач, бегая по густому клеверу, врывался трещоткой джаз бандовской в этот концерт, не нарушая, однако, ценности и красоты весенней мелодии.

Тот же Иван Мартыныч был и пионером дачестроительства в Борвихе. Большинство подмосковных крестьян сдавали под дачи свои земли в аренду на 90 лет. Иван же Мартыныч строил дачи сам и сдавал их в наем. Так с легкой руки Ивана Мартыныча Борвиха стала вскоре дачной местностью. По Александровской железной дороге (Белорусской) ездили до Немчиновского поста, а отсюда до Борвихи всего семь верст. Извозчики—свои, все борвихинские, всегда найдутся.

Летом извозное дело в Москве па-

дало, и борвихинские ехали домой в деревню, на побывку. Лошадей поправляли. В Москва-реке купали, да в душистые луга в ночное гоняли. Бабы—возле дачников. Яйца, масло, сметану, да цыплят продавали. Ребятишки землянику да малину, по пятаку глубокое блюдечко, носили. Так жили и богатели борвихинские мужики...

Но настала тяжелая пора. Борвихинские — кулаки. Всех раскулачили. Кого в Сибирь погнали, а кого в Соловки, да в Нарымский край. Баб—в Туркестан, на чайные плантации. Ни одной избы в Борвихе не осталось. На то и пришла рабоче-крестьянская власть.

Борвиху с карты не стерли. Она по вкусу пришлась советским сановникам. Застучали топоры в сосновом бору. Заплакали сосны. Беспомощно хватаясь хрупкими ветками за маковки соседок, падали они ниц, к ногам строителей. Разжиревшие сановники, вытирая пот, перевыполняли все нормы «пятилетки» и строили собственные дачи. Борвиху узнать нельзя. Дачи мавританские, ампиры, русские резные с коньками и петушками. Пыль-

ную дорогу полили асфальтом. От Александровской железной дороги провели ветку с маршрутом: Фили - Кунцево — Борвиха — Ильинское.

Борвиху охраняли так, как в царские времена не охраняли Царское Село и Ливадию. Даже птицы небесные не смели залетать сюда, без особого пропуска из Кремля, — скажем мы, вспомнив бессмертную метафору Н.В. Гоголя.

В эту новую Борвиху и въехал «красный граф», в дачу Чернова, бывшего «наркомзема», впавшего в немилость, про которого, вероятно, кричал Вышинский: «Троцкист — предатель, расстрелять его, как взбесившегося пса».

Жена Чернова судорожно, как на пожаре, спасала мебель и вывозила ее. Ведь жить то теперь будет не на что.

— Алексей Николаевич, мы останемся без единого стула — сказала Людмила Ильинишна — молодая жена Толстого.

— Ничего, «Людмила». Пусть вывозит. Нам ее мещанская дребедень не нужна — и обращаясь к Черновой, добавил — надеюсь до завтра кончите?

—Можно все забирать?—робко спросила Чернова.

--Забирайте.

—Спасибо, Алексей Николаевич.

—Людмила, едем домой!

Людмила Ильинишна была четвертой по счету и последней женой Алексея Николаевича. Раньше она была его секретаршей, и жили они в Детском (Царском) Селе. Как-то Алексей Николаевич, уезжая на отдых в Сочи, предложил Людмиле Ильинишне поехать вместе с ним, но в ответ получил категорический отказ. Перед отъездом Алексей Николаевич сказал:

—Возьмите себе на память—и передал Людмиле Ильинишне запечатанный конверт.

В нем оказалась фотография Алексея Николаевича с надписью: «Людмила, будьте моей женой». Людмила Ильинишна подумала и... стала женой Алексея Николаевича. Она происходила из семьи Крестинских и была в дальнем родстве с бывшим наркофом. На одном из «больших» приемов ее представили Крестинскому со словами: «Это Ваша родственница, дочь бывшего полковника».

—Да, кажется у нас в роду был какой-то полковник.

—Не какой-то, а полковник гвардии—обрезала наркомфина Людмила Ильинишна.

Из Ленинграда переехал на постоянное жительство в Москву Алексей Толстой, по личному повелению Сталина.

Во время похорон Горького урну с пеплом вынесли Сталин и Толстой. После смерти Горького пост председателя Союза советских писателей стал вакантным. Алексея Толстого в председатели никто не выбирал; он подержался только за урну и стал председателем Союза. Вскоре Алексей Толстой сделался и членом Верховного Совета.

В Москве Алексею Толстому была предоставлена квартира в четыре комнаты со всем современным комфортом, в большом блоке против Александровского вокзала. Но Алексея Николаевича она не удовлетворяла, поэтому он и решил переехать в Борвиху. От московской же квартиры не отказался и держал ее за собой, про запас.

Людмила Ильинишна была на седьмом небе и не жалела белее черновской мебели. Свою борвихинскую дачу Алексей Николаевич обставил с большим вкусом и по-барски. Как и полагается графу, Алексей Николаевич признавал только старинную стильную мебель красного дерева и дубовую—добротную, а не «модную, как он выражался, фанерную дрянь». Особенно гордился Алексей Николаевич своей столовой красного дерева с замечательными «бра-севр» и хрустальной люстрой бр. Гаррах. Витрины стеклянных шкафчиков были полны изумительного бакфара, хрусталя и «розенталя». Когда горел камин, Алексей Николаевич тушил свет и любовался игрой своего стекла, как-то особенно блестящего под действием колеблющегося каминного пламени.

Рядом со столовой находилась библиотека с ценнейшими и редкостными изданиями. Здесь, в небольшом кругу друзей, Алексей Николаевич читал свои новые произведения. Он любил их читать и читал хорошо.

Рабочий кабинет Алексея Николаевича помещался наверху, над столо-

вой. Здесь все было выдержано в строго—сухом стиле. Ничего лишнего. Единственно, что бросалось в глаза—небольшая конторочка «Людовика XV», которой особенно дорожил Алексей Николаевич и которая его «вдохновляла». Злые языки рассказывали, что ее Алексей Николаевич достал из какого-то дворца из будуара бывшей императрицы. Между прочим, те же злые языки болтали, что и столовую Алексей Николаевич обставил не без помощи «Эрмитажа»!

Свое писание Алексей Николаевич всегда начинал стоя за конторочкой, а потом переходил к письменному столу и уже писал на пишущей машинке. Когда заряд пропал, он ходил по кабинету, а затем снова возвращался к конторочке и работа возобновлялась. Больше всего и охотнее всего Алексей Николаевич работал над «Петром». Он писал его более пяти лет и использовал массу архивных материалов, которые были предоставлены в его распоряжение. Также много работал Алексей Николаевич над «19-м годом» («Хождения по мукам»). Он закончил его в 1941 году

и при этом сказал:

—Ты помнишь, Людмила, я тебе говорил, что, когда я кончу «19-й год», начнется война, видишь, так оно и вышло.

Из писателей Алексей Николаевич дружил более всего с Конст. Фединым. Стремился он установить также более тесные отношения с Шолоховым, но из этого ничего не вышло. Много раз приглашал он Шолохова в Борвиху, но всякий раз получал отказ. В писательских кругах много говорили о том, что Шолохов пишет «Тихий Дон» в ужасных материальных условиях: в «голоде и холоде, на хлебе и воде», но от помощи отказывается. Однажды, приехав в Москву, Шолохов, наконец, согласился встретиться с Алексеем Николаевичем. Встреча произошла в одном из московских ресторанов. Нового в их взаимоотношения она ничего не внесла. Вернувшись в Борвиху, Алексей Николаевич свазал:

—Знаешь, Людмила, Шолохов говорит, что я уже исписался и больше дать ничего не могу.

К молодым писателям Алексей Николаевич относился пренебрежитель-

но, всех их считал безграмотными бездарностями, не владеющими русским литературным языком. Многочисленные письма, телефонные разговоры, просьбы о встрече, совете были гласом вопиющего в пустыне. Никому Алексей Николаевич не помог, ни до кого он не снизошел.

Интимными друзьями Алексея Николаевича были Тухачевский и Ягода. Их у Толстых всегда очень хорошо принимали. Зачастую Ягода бывал с Тимошей, женой Макса Горького (сына), с которой он жил. Этот роман был длительным и начался еще при жизни Макса, но только тщательно скрывался. После смерти Макса, Ягода и Тимоша жили открыто.

Но однажды Тухачевский пал. В доме Толстых воцарилась тишина и тревога. Алексей Николаевич долго не возвращался. Все ждали беды. В советских условиях ведь даже «шапочным» знакомым опального грозила расправа и маячил «черный ворон» да Сибирь. Алексей Николаевич вернулся. Боялись к нему подойти. Спросить. Но он, лишь за обедом, между

прочим, сказал:

—Тухачевский-то, подлец, оказался вредителем.

Больше о Тухачевском не вспоминали. Вопрос был исчерпан.

То же самое произошло и с Ягодой. Алексей Николаевич отделался стереотипной фразой:

—Ягода-то, мерзавец, вредителем оказался.

Бледная как полотно вбежала к Толстым Тимоша. Ведь ей-то, наверняка кары не миновать?!

—Спите спокойно, сказал ей Алексей Николаевич.—Не забывайте, что Вы — мать внуков Горького. Ничего Вам не будет.

И действительно Тимоше ничего не было. Ей пришлось только расстаться с именем Горки, «унаследованным» Максимом Горьким после Ленина. Взамен она получила особняк Рябушинского в Москве, куда и переехала вместе с детьми.

В Борвихе Алексей Николаевич жил с женой и тещей. Людмилу Ильиничну он обожал и ни в чем ей отказа не было. Тещу же недолюбливал. Неприязненных чувств к ней не только

не скрывал, а наоборот, при всяком удобном случае старался это подчеркнуть. Как-то он ей сказал:

— Знаете, Полина Дмитриевна, как и полагается теще, я Вас не люблю, но я Вам бесконечно благодарен за то, что Вы мне родили Людмилу.

Кроме постоянных жителей, у Толстых в Борвихе всегда кто-нибудь гостил, для чего и существовала специальная комната для приезжающих, помещавшаяся наверху. Летом очень часто гостили у Алексея Николаевича два его сына. Старшего Никиту, Алексей Николаевич очень любил и считал его способным юношей. Литературных качеств сыновья не проявили. Никита избрал научную карьеру.

Челяди у Алексея Николаевича было четыре человека. Повариха, горничная, шофер и дворник, исполнявший обязанности так же и садовника. Автомобилей было два—«Форд» и «Студебекер». Но «Форд» стоял в гараже, паутиной затянутый, так как Алексей Николаевич и Людмила Ильинишна пользовались только «шикарным» «Студебекером». К слугам своим они относились хорошо. Алексей. Николае-

вич был настоящим барином, широким. Как-то Полина Дмитриевна, вернувшись из кухни, возмущалась:

—Вы подумайте, Алексей Николаевич, только что застала Лену, которая уплетала целое крыло индюка. Прямо безобразие!

—Пусть уплетает—ответил Алексей Николаевич—она же работает.

В 1940 году Алексей Николаевич и Людмила Ильинишна отправились в «завоеванный» Львов. И чего только не навезли; Алексей Николаевич превзошел самого себя. Одного вина купил он на 8.000 рѹблей. На эту поездку Алексею Толстому открыли кредит в 100.000 рублией.

По возвращении в Борвиху Алексей Николаевич ходил как именинник. Больше всего восторгался он столовым бельем. Теща ему как-то сказала:

—Алексей Николаевич, все хорошо, но ведь метки-то чужие. Буквы не подходят.

—Ах, что Вы понимаете—возразил Алексей Николаевич—разве в буквах дело? В—короне, и Алексей Николаевич ткнул пальцем в графскую коро-

ну, вышитую гладью над монограммой.

После этой поездки, по Москве поползли самые невероятные слухи. Говорили, например, что из какого-то имения польского магната Алексей Николаевич привез фонтан, который бьет шампанским. Стоящие наверху сочли нужным доложить о «поведении» Толстого самому Сталину. Но Сталин будто бы им ответил:

—Он же граф, известный баракольщик, пусть себе тешится...

Когда Алексей Николаевич и Людмила Ильинишна вернулись с приема, данного наркоминделом в честь дипломатического корпуса, на даче все уже спали.

—Знаешь Людмила, сварила бы ты на спиртовке турецкого кофейку покрепче, а я поищу бутылку токайского—сказал Алексей Николаевич.

За чашечкой кофе и рюмкой токайского Алексей Николаевич делился впечатлениями о вечере.

--Ну и приемчик, нечего сказать!— Бедный Молотов. Ради нового политического курса пожертвовал даже жемчужиной и совсем растерялся. Та хоть, если не светскими манера-

ми, то своим еврейским нахальством берет. А этот, как бедный родственник, с заплетающимся языком, волнуется и заикаться начинает. Ему не дипломатов принимать, а где-нибудь в уголочке гостинной молча сидеть и коленки ладонями растирать. Не даром говорят, что в партии дали ему кличку «Каменный зад».

—Я думаю, ответила Людмила Ильинишна, из-за новой политики он и язык-то проглотил. Не только французы и англичане, даже сербы бойкотируют нас.

—Да, новые союзнички—немцы и итальянцы. А что тебе немецкий-то посол нашептывал? Он только за тобой ведь и ухаживал.

Приглашал нас в Берлин. И так все расхваливал, такая жизнь, говорит, кипит. А я ему сказала—днем кипит, а по ночам в бомбоубежище бегаете.

—Хорошо срезала. Отсутствие англичан и французов было заметно. Ни одной элегантной дамы. Я уже не говорю о наших «кухаристых матронах», но и «послихи» вырядились, прямо чучелы. Только ты одна и была инте-

ресной и лучше всех одета. Да еще финка на три с минусом.

— Да, Алексей Николаевич, кстати о финке. Ты так за ней ухаживал и приглашал ее даже к нам. Родной мой, ведь это—гаф. Разве ты не знаешь, что отношение с Финляндией натянуто. Не сегодня—завтра начнется война.

— А ну их ко всем чертям! Я же не дипломат, — писатель...

На новогодней елке в Большом Кремлевском дворце было много приглашенных. Среди гостей Сталина оказались, конечно, и Алексей Николаевич с Людмилой Ильинишной. Новогодний ужин был сервирован в двух залах. В первом, большом, как в ресторане, были накрыты маленькие столики на четыре—шесть персон. В малом зале — большой стол. За ним сидел Сталин и его приближенные. Никакой связи между ними не было. Ни гости не пошли к Сталину поздравить его с Новым годом, ни Сталин не вышел поздравить своих гостей. Он сидел как небожитель, как микадо, который не может показаться «своему народу». Толстые сидели вместе с Садовски-

ми (известный артист Малого театра) и с Тимошей Горькой. Ужин был обильным и вкусным. Особенно хороши были тропические фрукты. Садовский набивал апельсинами и мандаринами свои карманы для ребятишек и жалел, что не захватил с собой «авоськи». Алексей Николаевич был очень доволен ужином и своей компанией. Обратившись к Садовскому он сказал:

— Вот это (про Садовского) — настоящий Фамусов! Не то, что Художественный театр.

— Алексей Николаевич, будь поосторожней. За соседним столом сидят артисты Художественного театра — сделала замечание Людмила Ильинишна.

— Ничего, пусть слушают!

Эта шпилька в спину Художественного театра чрезвычайно характерна для Алексея Николаевича. Даже в советские времена личная обида на Художественный театр у Алексея Николаевича не прошла. Он затаил ее. В свое время Алексей Николаевич употреблял все влияние, нажимал все педали, чтобы Художественный театр поставил хоть одну из его пьес. За него хлопотали и Мамонтов, и Савва

Морозов, но ничто не помогло. Станиславский и Немирович-Данченко категорически отказались от пьес Алексея Толстого.

Второй затаенной обидой Алексея Николаевича были Толстые. Толстые Алексея Толстого не признавали. Но тут в Алексее Николаевиче боролись два чувства: обожание и обида. Характерны два случая. Как-то московское радио оповестило, что будут переданы пластинки насказанные Львом Николаевичем. Радио-передача была назначена на половину восьмого утра. На Борвихинской даче все спали. Но Алексей Николаевич, не умывшись и набросив на себя халат, побежал в столовую к радио-аппарату. Стоя прослушал он всю передачу. Когда домашние пришли к утреннему кофе, передача закончилась. Алексей Николаевич выключил радио и сказал:

—Вот это настоящий русский язык, не то что советский!

Сергей Львович обратился однажды к Алексею Николаевичу по личному делу, прося содействия. Алексей Николаевич обещал. Много раз говорил он с Сергеем Львовичем по

телефону, заверяя, что заедет к нему сам. Несколько раз Алексею Николаевичу напоминала об обещании Людмила Ильинична. Всякий раз Алексей Николаевич отнекивался, сегодня, мол, не успел, заеду завтра. Так, в течение полутора-двух месяцев кормил «завтраками» Алексей Николаевич Сергея Львовича, и, в конце концов, своего обещания так и не выполнил. Личная затаенная обида перевесила обожание.

Алексей Николаевич зарабатывал очень большие деньги. Особенно хороший доход принес «Петр I». Согласно существовавшим нормам авторского права, автор фильма получал, в виде гонорара, 6 процентов с каждого кино-сеанса. Но затем этот гонорар указом Совнаркома был отменен. В связи с этим Алексей Николаевич сострил:

—Мою семью разорили две «великие реформы» — отмена крепостного права и отмена шестипроцентного авторского гонорара за фильм.

Львовская поездка в бюджет Алексея Николаевича внесла большой дефицит. Он задолжал теще и даже ку-

харке тысячу рублей. Одна надежда — на сталинскую премию. Только она одна выручит из беды.

На Борвихинской даче — тишина. Все притаилось. Все слушают радио-передачу. Даже дверь в кухню приоткрыта. Алексей Николаевич — «живой труп». Спикер называет одно за другим имена лауреатов. Но имени Алексея Толстого не произносит. На пятидесятом имени он говорит: «Продолжение слушайте в семнадцать часов по московскому времени».

— Это же неслыханное безобразие — вырвалось у Алексея Николаевича. — Я поеду к Маленкову!

— Алексей Николаевич, это неудобно. Обратят внимание. Лучше позвони по телефону — сказала Людмила Ильинична.

— Тоже сказала, как будто телефонные разговоры не подслушают.

Те же испытания продолжались и в 17 часов. Названо 100 имен, 110, 120, 130,... Алексея Толстого забыли. И, наконец, на 142 месте Алексей Толстой стал сталинским лауреатом за «Петр I». Алексей Николаевич воскрес. Все домашние облегченно вздохнули.

Начались бесконечные телефонные звонки с поздравлениями Алексея Николаевича.

«Петр I» кормил Алексея Николаевича и в его заграничных поездках. Иностранные издательства гонораров Алексею Толстому не переводили в Москву, а держали их на его текущем счету. За границу Алексей Николаевич ездил почти ежегодно и там проживал свои гонорары в иностранной валюте.

Вернувшись из-за границы, в 1938 году. Алексей Николаевич рассказывал, что был у И. А. Бунина и имел с ним продолжительную беседу (?). О русской эмиграции Алексей Николаевич отзывался отрицательно и сказал:

—Русская эмиграция—беспочвенна и ждать от нее нечего...

Март месяц был на исходе. Солнце ярко светило и слепило глаза. Таял снег, и ручейки также весело, как и встарь, бежали к Москва-реке Голубели купола Василия Блаженного, купаясь в солнечных лучах. Возле Спасских ворот стоял «Студебекер», ожидавший Алексея Толстого. В Кремле шло заседание Верховного Совета.

Спасские ворота—священное место старой Москвы. Ни один пешеход, ни один извозчик, ни один военный не проходили и не проезжали через Спасские ворота, не сняв шапки или фуражки—в память убиенных и казнённых на Лобном месте.

А теперь?

Через Спасские ворота идет Алексей Толстой—член Верховного Совета. В растегнутой шубе, бобровой шапке набекрень. В левой руке—большой пакет, а в правой—надкусанная сочная груша. Все забыто. Православная Москва умерла в Алексее Толстом.

Ты знаешь, Людмила—сказал он, подойдя к «Студебекеру»—замечательные груши и яблоки появились в буфете. По крайней мере есть какая-то награда за терпеливое выслушивание скучнейших докладов...

Так жил и «преуспевал» вернувшийся из эмиграции в красную Москву Алексей Толстой—первый «сменоварховец» и «совпатриот». Ради материальных благ, ради клетки золотой, в которую его посадили, он отрекся от самого себя и служил советской

власти. Душу свою, душу писательскую—свободную он продал. Сталин купил и заплатил за нее Алексею Толстому—хорошо.

Альпы 1947 г.

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

(Этюд об одной собаке)

Как это странно. Раньше все окружающее я чувствовал нюхом. А сейчас вдруг увидел свет. Я был один. Моя мать куда-то убежала. Я пополз по соломе к отверстию, откуда проникал свет. Высунул мордочку. Крутом было все белое, белое и ослепительно сверкало. Как это интересно! Но почему-то защипало мой нос. И стало вдруг так больно, что я поскорее повернул назад. Вскоре вернулась и моя мать.

—Вот ты уже и прозрел—сказала она—и начала облизывать мои глаза. Беда мне с тобой. Этакое наказание! Родился один и в такой еще сильный мороз. Мой хозяин—добрый, хороший человек и любит меня, но странный. Ведь тебя бы он утопил в ведре, как и всех моих прежних щенят. Потому что ты, мол, не породистый. Несколько раз мне приводили Пугласа, чисто-

кровного фокстерьера. Но он мне не нравится. Разве я виновата, что любила дворового Цыгана. Странные люди. Я должна была убежать из дому и скрывшись от них, рожать тебя в такую стужу в стогу соломы. Твое счастье, что ты родился без хвоста. Ведь фокстерьерам полагается их рубить. Здешние же мужики рубят хвосты вообще всем собакам и уже взрослым, годовалым. Потом эти хвосты они поджаривают в сале и дают каждой собаке сожрать свой хвост, чтобы злее была. К кому ты попадешь? Ведь каждая собака должна иметь своего хозяина. А они—не все одинаковы. Эх...да я не знаю выживешь ли ты вообще?

Я слушал. Но страхов своей матери не переживал, потому что ее молоко, которое я сосал, было особенно вкусным. От него шел какой-то странный запах, буквально бивший в нос. Этот запах остался в моей памяти на всю жизнь и его я особенно любил. Позднее, когда я подрос, я уже узнал что это такое. Это—ваниль, которую люди кладут по большим праздникам в очень вкусный сдобный хлеб. И ког-

да его пекут, то пахнет во всем доме.

—Боже! Идут—воскликнула моя мать услышав скрип шагов.—Ну, теперь ты пропал! И она стала меня лобызать своим нежным и горячим язычком.

—Вот где наша проказница скрывается—сказала графиня. Наташенька подождите в сторонке. Дэзи! Дэзи! Поди сюда!

Моя мать задрожала, но повиновалась и спрыгнула со стога.

—Подержите ее, Наташенька, а я загляну в берлогу.

Сердце мое застучало. О людях я знал лишь понаслышке от матери.

—Посмотрите, да у нее всего-то один. И уже смотрит. И какой очаровательный. Безхвостый бутуз!

—Действительно прелесть, и какой тяжеленький—сказала Наташа, взяв меня на руки.—Графиня, но ведь он бедняжка может замерзнуть. Этот доктор Рамуряну—такой противный! Только породистых ему подавай. Как-будто дворняжки не имеют права на жизнь. Графиня, возьмите его к себе, хоть на недельку, чтобы Дэзи могла его выкормить, а потом я заберу его

к себе.

—Но как же? В больницу. Это неудобно.

—Миленькая, графиня, ну к себе, в комнату. Доктор даже и знать не будет. Я вас прошу!

—Вы так умильно просите, что действительно нет сил Вам отказать, Наташенька.

—Итак решено! Идемте, графиня. Дэзи, идем!

Что переживала в эти минуты моя мать, я не знаю. Но мне на руках у Наташи было совсем не плохо. И что особенно меня поразило, это запах, который она излучала. Какая резкая произошла перемена, когда мы вошли в длинный, мрачный коридор. Как неприятно запахло. Точно также пахла мазь, которой меня впоследствии мазали, когда у меня бывала чесотка. Моя мать шла рядом и как-то странно стучали ее длинные когти.

—Наташенька, будьте осторожны— сказала графиня.—К Вашим ботинкам налип снег и на линолеуме легко можно поскользнуться и упасть.

Когда мы вошли в светлую комнату, то вдруг стало тепло. Моя мать

кружилась и прыгала возле Наташи.

—На, на, твоё сокровище.

С этими словами Наташа положила меня на пол. Мне было мягко и гораздо приятнее, чем на соломе.

—Графиня, Ваши ковры в опасности—сказала Наташа и начала смеяться.

Её смех был такой заразительный и так приятно звучал в моих ушах, что мне только хотелось бы уметь так смеяться.

—Надолго в наши края пожаловали, Наташенька?

—Да теперь уж навсегда. Сережа кончил агрономический, будем устраивать свою жизнь здесь. Да что это он, в самом деле, не идет. Боюсь как бы не «навизитировался».

—Не жалко Вам было расставаться с Францией, с Парижем?

—И не говорите. Я так люблю Францию, французов, французскую литературу. Но, что делать? А как Вы, графиня, устроились?

—Благодарю Бога, что вырвалась из Совдепии, Вы подумайте. Старая женщина, как я, рискнула переправиться через Днестр. Шла на верную гибель,

но предпочитала смерть от пули пограничника—жизни в советском раю. И Бог миловал. Теперь работаю в больнице. Тепло, сытно. Отношение ко мне администрации и врачей хорошее. Что мне старухе еще нужно? Вот разве Вы меня теперь щеночком спровоцируете. А как Вы его назовете?

—Вот придет Сережа, тогда придумаем.

—Как Вы могли, Наташенька, постричь свои волосы? Ведь у Вас была такая чудная коса, прямо золотом отливала. И что, это—теперь модно?

—Да, весь Париж и Вена, и млад и стар постриглись «а ля гарсон» и «Бубе—Копф». Ура! Придумала название. Буби, Буби щеночка назовем.

При этих словах Наташа снова взяла меня на руки под передние лапки и подняла высоко, высоко.

—Понимаешь, теперь ты—Буби! Запомни: Бу-би! Буби!

После этого я снова очутился на коленях. Мне было уютно и приятно. Ручка Наташи, узкая, с длинными и розовыми, как язычек моей матери ногтями, гладила меня по спинке нежно, нежно. И я подумал—вот это-то

и есть тот хозяин собаки, о котором говорила моя мать.

—Наконец-то, Сергей Алексеевич, пожаловали! А ну-ка, подойди ко мне. Дохни! Небось как из винного погреба несет.

—Да подожди, дай сначала ручку хозяйushке поцеловать.

—Здравствуйте, здравствуйте, Сергей Алексеевич! Поздравляю Вас с праздником! Вас-то мы и дожидались. Сейчас елочку зажжем и по рюмочке выпьем. Надеюсь, что для одной-то местечко осталось.

—Да и побольше войдет.

—Ну, конечно, тебе только подавай. Для чего другого, а для выпивки у тебя всегда и «местечко» и «времячко» найдутся.

В своем углу, на мягком ложе, где так было хорошо и тепло, я прижимался к матери, давая ей понять, что доволен новым положением, своей собачьей жизнью. Меня все интересовало. Люди. Их разговор, который мне хотелось понять. Их вещи. Неведомые запахи. Особенно же запах Наташи, который усиливался, когда она брала в руки какую-то белую тряпочку. Его

я хорошо запомнил. Так пахли только цветы по ночам после дождя.

—А Вы, графиня, я вижу решили семейством обзавестись. Щеночка завели!

—Да это, видите ли, не я, а Ваша сердобольная супруга. Испугалась, что он замерзнет. Вот и пришлось его приютить у себя.

—Здорово! Вместо замерзающего рождественского мальчика приголубили, так сказать, щеночка.

—А ты думаешь это плохо. Ведь и в Священном Писании сказано: «Блажени иже и скотов милуют». Пойди лучше посмотри. Какой он очаровательный. Буби, назвала я его.

Меня подняли за шиворот и понесли к елочке, где потрескивали красные свечи и так приятно пахло хвоей. Потом насильно раскрыли пальцами мой рот, тянули кожу на лбу.

—Хотя и полукровка—сказал Сергей Алексеевич—но вещица не плохая. Небо чернее тучи грозовой; значит будет злой. Лоб—морщинистый как у древнего философа. Твой Буби будет умным.

—Прошу, пожалуйста, не «твой», а

наш! Сережа, будем собираться, а то уже темнеет. Собьемся еще с дороги. Снегу-то сколько навалило. Да и у Никанора тоже праздник сегодня. Чего нам его задерживать. И ему хочется побыть в семье, с детьми. Целыми днями работает.

—Да, да, ты, как всегда,—права. Едем!.....

Я на новом месте. Первые дни мне было без матери очень тоскливо. Но теперь я уже освоился и привык. Пью молоко с белым хлебом, или золотистой мамалыгой, из блюдечка. При этом не обходится без трагедии. Наташина ручка не всегда бывает ласковой. Во время еды я часто получаю шлепки со словами: «Не смей жадно есть», и блюдечко при этом отставляется в сторону, или—«попроси: ау! ау!» За шлепки я пробовал огрызаться и кусаться, но за это получал их в двойне. Еще трагичнее бывает, когда мою мордочку тычат в лужу, дают шлепки, а потом за шиворот выбрасывают на мороз со словами: «просись, ау! ау!» Отец Наташи во время таких сцен смеется и говорит: «Не собака а водопровод.» Почему водопровод?

Не понимаю. Ведь я отлично знаю, что меня зовут Буби.

Пришла весна. Моя первая весна. Я сидел в передней у дверей в нетерпеливом ожидании, что кто-нибудь пройдёт и меня выпустит. Я услыхал шаги Наташи и затанцевал возле двери.

—А что надо сказать?

Как-будто на-зло, какие-то комья застряли в моей глотке, но я справился с ними.

—Ау! Ау! Ау!

—Вот так.

Буби умный, Буби все понимает.

Дверь широко распахнулась, и я радостно выбежал на улицу.

Белый ковер исчез, обнажив землю, которая пахла. Как?! Ничто не может сравниться с весенним ядреным запахом земли. Я бегал—и вперед, и назад, и кругом, весело облаивая все, что на моем пути поцадалось—и деревья, и кур, которые шарахались от меня, и кошек, которые фыркали, а потом прыгали на деревья. Я чувствовал радость бытия. Своего собачьего бытия. И всех об этом хотел я оповестить.

Кроме меня, во дворе было еще пять собак. Все они были уже взрослые. Обнюхавшись, мы познакомились. Несмотря на мой младший возраст, ко мне было, как к собаке комнатной, отношение особое. Однако, в своре я должен был подчиняться старшему, самому сильному—Шерлоку. Только по его указанию мы могли облаивать и набрасываться на входящих во двор. Всех своих Шерлок знал, чужим же проходу не давал. Посторонним собакам вообще спуска не было. Ни одной чужой собаки во дворе! Таков—собачий закон. В доме хозяин был я, и туда даже Шерлок носа показать не смел.

Всю эту премудрость я быстро постиг, равно как и комнатное воспитание. Я знал, что к столу во время еды подходить нельзя. И если уж со стола пахло особенно вкусно, так что и выдержать было нельзя, я садился на задние лапки, служил и потихоньку просил. Меня подзывали, и я получал лакомый кусочек, который из рук нужно было брать потихоньку и за самый краешек—деликатно.

Буби умный. Буби все понимает.

Когда я подрос и стал настоящей собакой, псом, никаких шлепок больше не получал. Своих хозяев я знал и любил всех, но больше всех Наташу. Отец Наташи и Сергей Алексеевич часто отлучались из дому и иногда на долго. Наташа и ее мать грустили. Тоскливо без них бывало и мне. По вечерам ложился я возле ног Наташи. Возвращение я всегда предчувствовал и заранее убегал навстречу. Возвращаясь, бежал рядом с экипажем. Потом с лаем вбегал в дом, всех оповещая, что они приехали.

—Буби—настоящий член семьи—говорила Наташа.—Посмотрите, как он радуется.

Буби умный. Буби все понимает.

Летом жизнь переходила на террасу. Здесь и обедали, и ужинали. Я обыкновенно лежал возле ступенек. На террасу часто пробирались, неведомо как, назойливые цыплята, собиравшие крошки под столом. Ну и давал же я им жару! Терпеть я не мог Никанора и его мальчишек, почему-то часто входивших в дом. Никанор всегда старался дать мне или кусочек сахара, или что-нибудь вкус-

ненькое. Но из его рук я ничего не брал. Когда я набрасывался на него, то меня всегда останавливали.

—А, Никанорушка, чего так поздно—сказал входившему отец Наташи.

—На почте задержали, барин.

Я пропустил Никанора, а потом подкрался и тяпнул его за ногу.

—Ай, Ай!

—Буби, пошел вон! Ты с ума сошел, вот—злюка. Никанор, что, больно укусил?

—Да нет, барин, только штаны порвал.

—Штаны дело поправимое.

Никанор положил почту и ушел.

—И чего это Буби не влюбил Никанора?

—А вы знаете, папа, почему Никанор опоздал? Потому что, верно, продавал четыре мешка кукурузы, которые он вчера ночью украл.

—Да будет тебе, Сережа, зря на человека наговаривать. Да если и украл, Бог с ним. Семья-то у него большая и все мал-мала меньше.

—Дело не в четырех мешках. А обидно, что человеку ни в чем отказа нет, а он крадет. Изподтишка гадости де-

ляет.

Буби умный. Буби все понимает,

В моем быту произошла перемена. Теперь еду я получал в кухне, из рук кухарки Домники, в особой мисочке. Домнику я полюбил. Раз в неделю меня купали. Это было приятно, когда мыло не попадало в глаза. Спал я в углу, в столовой. Однако, мне больше нравилось кресло в соседней гостиной. Но тут произошла драма.

Отец Наташи, обыкновенно, до поздней ночи сидел там с книжкой. Я знал, что при нем в кресло прыгать нельзя. Но, когда он уходил спать, я перебирался в кресло. Как-то ночью он внезапно встал и пошел в гостиную. Однако, я быстро соскочил и успел спрятаться под диван.

—Где же Буби? Неужели его забыли впустить?

Он ушел, а я—снова в кресло. На следующий вечер произошла та же история. Снова обошлось благополучно. На третий день он меня, почему-то, вытащил из-под дивана и отлупил. Я знал, что—за дело. Но как он узнал? В следующий раз я снова спал в

кресле. Но, когда услышал его шаги, то заблаговременно перебежал в другую комнату и смотрел, что он делает? А он своей рукой трогал все кресла подряд, и когда дошел до того, на котором я спал, сейчас же полез под диван. Не найдя меня там, он пошел в другую комнату. Ну и получил же я на орехи! Всякую охоту от кресла отбил. Теперь я понял, что кресло, на котором я спал, конечно, было теплее других. Хитрый старик!

Однажды Сергей Алексеевич долго отсутствовал и приехал не один, а с собакой. Я не могу передать, что со мной случилось. Когда она вошла в наш дом, во мне все перевернулось. Я остолбенел. Даже не подошел ее обнюхать. Она шла, прижавшись к Сергею Алексеевичу, на полусогнутых лапах. Какая красавица! Ее длинный, как шлейф, с курчавым пером хвост касался пола. Ее длинные уши в локонках оттеняли красоту ее умной собачьей морды. А сама она была черная и блестящая, как колесная мазь.

—Буби, да подойди же, познакомься. Это—Муму, Мумка!

Неуверенными шагами я подошел.

Мы обнюхались, и Мумка лизнула меня в нос. Перед моими глазами поплыли какие-то круги. Я ничего не соображал. Я... был влюблен.

—Сережа, да вы с Наташей с ума сошли. Еще одна собака в дом. Лучше бы мне внука подарили!

—Папа, посмотрите, какая прелесть, какой экстерьерк. Ведь так на выставку и просится. С такой собакой я Вас дичью завалю.

—Разве что?!

В своей любви я был несчастен. Мумка была моей сестрой, подругой, но женой быть не хотела. И такая—коварная. Она со мной играла, резвилась, кокетничала, и только. По ночам мы убегали в поле, на охоту. Она всегда находила заячьи гнезда. Сама никогда не дотрагивалась. Я же маленьких зайчат пожирал так, что только косточки хрустели.

Особенно Мумка радовалась, когда Сергей Алексеевич брал ружье и уходил на охоту. Итти с ними мне не разрешалось. И вот тут-то произошла моя самая большая драма.

—Черт знает, что такое—сказал Сер-

гей Алексеевич. Вечная история. Породистых собак так и тянет на мезальянс. Мумка-то моя подцепила какого-то прохожего «саженного» пса.

Я был вне себя. На Мумку не обращал никакого внимания и с нею не разговаривал. Вскоре она родила девять щенят. Семерых потопили, а двух оставили. Когда они подросли, то одного отдали в деревню, другого, самого красивого, черного как Мумка, с белыми перчаточками на всех четырех лапках, оставили и назвали Принцем. Но дворовым.

Сердце—не камень, и мы помирились с Мумкой. Снова убегали по ночам на охоту. Сергей Алексеевич сердился и запрещал. Нужно было употреблять массу хитрости, чтобы улизнуть незамеченными.

Как-то, в чудный лунный вечер Сергей Алексеевич с Наташей сидели в саду. Мумка лежала у их ног. Я вышел на полянку.

—Сережа, посмотри, Буби приглашает Мумку. Не трогай. Посмотрим.

Мумка потихоньку, вижу я, встала и пошла, сначала крадучись, а потом побежала. Прямо ко мне. Сергей Алек-

сеевич вскочил и закричал—назад!

—Сережа, оставь! Пусть порезвятся.

На следующий вечер Мумку привязали на ремень. Я перегрыз, и мы убежали. Лучше бы я этого не делал. Я был преступником, убийцей. Когда мы пробегали через кукурузу, глупый мужик подумал, что мы, как и деревенские собаки, жрем кукурузу—очень-то она нам нужна! И он бросил в Мумку заостренный кол. Мумка завизжала и упала. Итти она не могла. С большим трудом я вытащил зубами кол. Но она не вставала. Я лег возле и зализывал ее рану. Кровь шла, не переставая. Домой итти я боялся. На следующий день пошел, чтобы принести Мумке хлеба. Но она не ела. Я снова вернулся домой. Подошел к Сергею Алексеевичу.

—Где Мумка?

Я залаял. Потащил его за брюки, а потом побежал, оглядываясь и лая. Сергей Алексеевич последовал за мной.

Буби умный. Буби все понимает.

Нет, Буби глупый. Слишком поздно.

Сергей Алексеевич принес Мумку домой на руках. Ей промыли рану.

Лечили. Но ничто не помогло. До еды она не дотрагивалась. И на третий день ее не стало. Все в доме оплакивали Мумку. Такой собаки на целом свете больше нет...

Смерть Мумки как-то особенно сблизила меня с Сергеем Алексеевичем. С этих пор по ночам, когда он работал в своем кабинете, я лежал возле его ног, вспоминая и грезя Мумкой...

Время шло. Принц уже стал взрослым. Я постарел, а Шерлок и того более.

Все дворняжки ели из общей миски. Когда же пища оставалась на дне, то старший обыкновенно показывал зубы, и все остальные должны были удалиться. Остатки доедает старший. Но однажды Принц не пожелал подчиниться. Шерлок набросился на него. Началась драка. Победил Принц. Он доел остатки и стал старшим своры. Года через два Шерлок околел...

В нашей жизни наступали большие перемены. Я лежал у ног Сергея Алексеевича, сидевшего в кресле возле камина. Несмотря на жаркую летнюю ночь, камин горел. Сергей Алексеевич бросал в огонь какие-то бу-

маги, газеты, фотографии, которые снимал со стен. А за окном ревели машины так же, как тот трактор, который не так давно привел Сергей Алексеевич сам. Собаки лаяли, но рев машин их заглушал. Машины сворачивали с дороги в большой фруктовый сад и там останавливались.

Поутру пришел Никанор. Почему-то никакой охоты трогать его у меня не было. Вероятно я уже совсем постарел.

—Что нового, Никанор? — спросил Сергей Алексеевич.

—Поздравляю Вас с советской властью. Вчера ночью у нас было экстренное сельское собрание, и мы всем сходом постановили старого барина оставить в доме и записать в колхоз. Вас же назначить уездным агрономом, о чем просить советские власти. Ведь Вы же знаете, что мужики за Вас и за барина горой стоят.

—Спасибо, Никанор.

Я обежал всю усадьбу. Кругом—солдаты. Во дворе—мужики. Во флигель, на котором висит красный флаг, они входят как к себе в хату. Возле кухни Домнику окружают солдаты.

—Ну, что, девка, довольна, что свобода пришла? На себя, а не на помещика будешь теперь работать. Небось помещик-то порол тебя?

—Да откуда вы это взяли, товарищ. Мой барин—такой хороший человек, что такого другого на целом свете нету. На пасху телку мне подарил.

—Вот тебе на! Сколько же ты времени у него служишь?

—Да вот уж шестнадцатый год пошел.

—Гм... А Вас как зовут, гражданин?

—Григорий.

—Вы тоже на помещика работали?

—Да, пастух.

—Небось не раз зуботычины получали?

—А это за что ж, коли все исправно.

—Сколько же вы служите?

—Да в этом году второй десяток кончается.

—Небось работаете за одни харчи?

—А я что ж—каторжник, что ли какой, чтоб за харчи одни работать.

—А за сапоги-то небось года два отрабатывать пришлось?

—Ну и чудной же Вы человек, товарищ. Сапоги, всю одежду и харчи

я получаю от барина и еще 1.500 лей в год.

—А две коробки спичек на эти деньги купить можно?

—Вы простите, товарищ, но как-будто с луны Вы свалились. Да за полторы тысячи я кабана купить могу, в котором сала одного больше двух пудов будет.

—А советскую власть вы ждали?

—Ждали.

—Почему?

—Потому что она—русская. А деды рассказывали, что при русском царе жилось лучше, чем при румынах.

—Чёрт знает что такое!

Возле флигеля стоял Сергей Алексеевич и о чем-то разговаривал с военными. Я подбежал к нему.

—Гражданин агроном, про Вас рассказывают прямо чудеса. Говорят, что Ваши опыты рисовых плантаций дали весьма хорошие результаты.

—Да. У нас в селе я уже и крестьян многих к посадкам риса приохотил.

—Говорят, что весьма благоприятный район для риса находится в селе Кугурештах. Это далеко?

—Нет, около четырех километров.

—Не могли бы Вы пройти туда с двумя товарищами и на месте дать необходимые указания?

—Отчего же, охотно.

Все втроем пошли. Я побежал за ними. За мной увязался и Принц. Военные нас прогоняли. Бросали камнями. Но попасть-то не так легко. Сенька Никаноров каждый день упражнялся, но ни разу не попадал.

Ходили они долго. Сергей Алексеевич все что-то показывал. Подходили к самой воде, в которой Принц выкупался. Потом пришли в деревню. Зашли во двор какого-то дома, где было много солдат. Те двое, что пришли с Сергеем Алексеевичем, отправились в дом, а к Сергею Алексеевичу, почему-то, приставили двух солдат с ружьями. Принц и я подошли к нему и передними лапами прыгнули на него. Сергей Алексеевич нас обнял и приласкал.

—Ваши собаки? — спросил один из солдат.

—Да.

—Собака хорошего человека чувствует.

—Это верно, товарищ. Только люди,

к сожалению, это чувство утратили...

Уже смеркалось. Те двое вышли из дому.

—Простите, что Вас так долго задержали. Но за то поедём домой на грузовике.

Они сели спереди, а Сергея Алексеевича посадили сзади. Двое солдат с ружьями сели по бокам. Мы с Принцем побежали за ними и не отставали. Бежали долго, так что наши языки прямо из пасти совсем вываливались. Ехали они не домой.

-- Буби, прощай! Принц, прощай! Прощайте!—крикнул Сергей Алексеевич.

Была уже поздняя ночь. И чем могли мы с Принцем помочь? Мы повернули назад и побежали домой.

Наташа сидела в саду под орехом и плакала. Я прыгнул передними лапами к ней на колени и уткнулся мордой. Она приподняла ее своими руками и глядела мне прямо в глаза.

—Буби, Бубишор, ты умный. Ты все понимаешь. Как могли они Сереженьку, такого человека, похитить и исподтишка, так подло, предательски арестовать. Сколько добра-то он на-

роду сделал. Нет, нет. Я больше не могу.

Она встала и пошла в дом. Я побежал за ней.

—Мамочка, завтра чуть свет я уезжаю.

—Куда?


—Разыскивать Сережу.

—Где же ты его будешь искать?

—Объезжу все тюрьмы. Всех следователей. Всех прокуроров. Я должна его найти. Живым, или мертвым!

Ночь была ужасна. В доме никто не спал. Воцарилась какая-то зловещая тишина. Только Принц до самого рассвета выл под окном кабинета...

Прошли четыре дня. Отец Наташи, взволнованный пошел во флигель. Прошмыгнул за ним и я. Там было много народу. Все—мужики и два военных.

—Вот уже скоро неделя как у Вас существует советская власть, а ничего до сих пор не сделано. Помещик живет в своем доме. Вы хотите его принять даже в колхоз. Да знаете ли вы, что это противоречит советским законам. Помещики—угнетатели рабоче-крестьянского класса находятся

вне закона. Смотрю я на вас и дивую даюсь. Где комитет бедноты? Этот комитет должен национализировать все помещичьи вещи и раздать их бедным. Кто у вас самые бедные?

— Да все мы бедные.

— Безземельные есть?

— Нет, таких нет.

— Ну а безлошадные?

— Я, Герасим Пуишер.

— Корова есть?

— Есть.

— У кого коровы нету?

— Да таких у нас на селе нету.

— Есть еще кто-нибудь безлошадный?

— Да, кажись, кроме Герасима никого.

— Значит, Герасим Пуишер, по законам советской демократии, будет председателем Комбеда.

— Гражданин помещик; Вы выселяетесь из своего дома и на Ваше место вселяется Никанор Иванович Капустин, бывший Ваш батрак.

— А я куда?

— В его хату.

— Никанор, и ты согласен?

— Чего же, поживите вы на моем

месте, а я на вашем.

—Эх, Никанор. неужели ты все доброе позабыл? Иуда ты. Предатель. Смотри — Бог правду видит, да не скоро скажет. Товарищ политрук, ваше предложение о моем переселении я отвергаю. Согласно договора между Румынией и СССР, вы меня, как коренного бессарабца, должны репатриировать в Румынию. Поэтому будьте любезны доставить меня на границу.

—Барин, не уезжайте—загалдели мужики.

—Эх вы, холопы — закричал политрук.—Привыкли, как собаки, барину в руку смотреть, может кость бросит, а?

—За что же вы нас, товарищ, обижаете, а еще—освободители.

Другого военного, сидевшего до сих пор молча, передернуло. Он приподнялся.

—Объявляю перерыв. Гражданин помещик, Ваше заявление принято во внимание. Выселение отменяется. Вы будете доставлены к румынской границе.

Отец Наташи вышел. Я выбежал за ним.

Возле кухни сидели кружком, как всегда перед обедом, в ожидании Домники, дворняжки. Глядя на них, собрались солдаты.

—Посмотрите, товарищи. Совсем как в цирке. Дрессированные.

Домника вышла и поставила в середину собачьего круга миску с едой.

—А чем ты их, красавица, кормишь?

—А вы что, не видите? Маслянка с мамалыгой.

—Товарищи, да у нас в советской земле от такого обеда и колхозники не отказались бы. Вот тебе и «собачья жизнь»?! А батраки-то что у Вас едят?

—А это кто ж такие будут?

— Ну да рабочие.

—Как что мясной борщ, а по утрам молоко с мамалыгой и брынзой и салом. На вечер то же самое.

—Гляжу я на здешних и диву даюсь. Круглые, сытые. Все-то у них есть. От чего же мы их освобождать-то пришли?

—Знамо от чего, от хорошей жизни...

Ночью загалдели машины. В срочном порядке вся воинская часть неожиданно была переведена в другое

место. На утро в усадьбе не осталось ни одного солдата. Только один военный, тот самый, но теперь в фуражке с красным околышем, провожал родителей Наташи. Возле шарабана собрались мужики и бабы. Подолами бабы, а мужики кулаками слезы вытирали. Отец Наташи гладил меня. Я лизал ему руку.

—Буби, а ты что ж, в Бухарест с нами ехать не хочешь?

—Буби будет дожидаться своей хозяйки, Наташеньки—сказала сквозь слезы ее мать.

Буби умный. Буби все понимает...

После отъезда побрел я в пустой дом. Лег на пороге у открытой двери. Вскоре пришел военный со своей собакой и Никанор с Сенькой.

--Шельма, куси его!

Я встал. Оскалил зубы. Шерсть моя поднялась бобриком. Шельма сразу поджала хвост и отошла в сторону.

—Не хотел сахарку? Так поешь теперь арапника!

Никанор ударил меня. Кровь хлынула из переносицы. Боли я не чувствовал. Злоба захлестывала меня.

—Тятенька, не трожьте его. Дайте,

я его на кол подсажу, как вы рассказывали, русские мужики на рога-тину медведей подсаживали.

Сенька шел на меня. Я себя не помнил. Прыгнул, как прыгал бывало на деревья за кошками. Вцепился в Сенькину глотку. Он завопил благим матом. Потом я кусал чьи-то руки, которые стаскивали меня и, наконец, сбросили на пол

—Застрелить этого взбесившегося пса!—крикнул военный.

Грянули три выстрела... И эхом откликнулись опустевшие комнаты.

Собачьей жизни пришел конец...

Хозяева больше не вернулись. Их усадили в вагон с надписью: «Добровольные переселенцы в Донбас».

За «особые заслуги» Никанор въехал в помещичий дом...

Буби был умный. Буби все понимал...

Альпы, 1947 год.

ДОКТРИНЕРЫ

(Этюд)

Одесса. Ночь была темная. На улицах ни души. Из окон домов—ни одной полоски света. Город точно вымер. Разрушенные бомбардировкой дома казались мертвыми. Когда задувал ветер, они начинали хлопать полусорванными ставнями, напоминая стук костяка, блуждающего скелета.

Возле большого белого здания, выдававшегося из темноты, дольметчер Андреев свернул налево. Внезапно до него донесся слабый стон. Андреев остановился. На крыльце, спустив ноги на ступеньки, лежал на боку замерзающий человек.

—Что с вами?—обратился к нему Андреев.

—Я—еврей. Меня выселили, а квар-

тиру мою опечатали. Лучше я здесь замерзну, чем меня погонят завтра в гетто.

—Вставайте и идemте со мной..

—Куда? на расстрел?

—Нет, ко мне домой.

—Вы не боитесь обысков? Ведь если меня найдут, то и вам не сдобровать.

—Моя квартира вне подозрений.

Еврей повиновался, и они молча двинулись вперед. Тишину ночи стала нарушать «ружейная переключка» дозоров.

—«Стой!» окликнул их румынский патруль.

Дольметчер сказал «пароль». Патруль удалился. Всю дорогу оба молчали.

—Вот здесь живу я. Следуйте за мной.

При этих словах Андреев вынул карманный фонарик и осветил лестницу. На площадке первого этажа остановились у двери, на которой был наклеен плакат «Beschlagnahmt». (Реквизировано). Андреев отпер американский дверной замок, и они вошли в квартиру. Страшными казались

нежилые большие комнаты, с причудливо огромными тенями, проектировавшимися от света электрического фонарика на высоких белых стенах. Пройдя зал, вошли в крайнюю комнату.

—Садитесь здесь, в кресло, сказал Андреев,

Подойдя к длинному столу, он зажег свечу, воткнутую в толстую бутылку от шампанского, залитую заплывшим стеарином до самого донышка. Колесавшееся пламя еле-еле, волчьим глазом, освещало большую комнату, постепенно вырисовывая контуры находившейся там мебели. Потом Андреев затопил железную печку, возле которой в кресле сидел еврей. От сильной тяги уголь быстро разгорелся. Длинная железная труба начала пощелкивать, наполняя комнату приятным теплом.

Не проронив ни одного слова, Андреев поставил на железную печь эмалированный чайник. Потом он снова перешел к длинному столу, нарезал хлеб и сделал бутерброды с кол-

басой и паштетом. Поставив их на небольшой колесный столик, он подкатил его к печке.

Разглаживая подбородок и щеки, обросшие рыжей щетиной, наконец оттаявшей, заговорил первым еврей.

—Вот мы молчим, каждый как-будто со своими мыслями. А мысль—одна. Я думаю—что будет со мной завтра? А вы—как мне помочь?

—Вы угадали.

—У меня есть золото.

—Мне вашего золота не нужно.

—Это я знаю, иначе вы со мной давно заговорили бы о своих условиях, и мы бы уже торговались. Но другим оно нужно. Ведь один вы все равно мне не поможете. Милиция и полиция везде одинаковы.

—Да, румынская же особенно подкупна.

—Вот то-то я и говорю. По всему вижу, что под вашей крышей я нахожусь в безопасности. И если вы мне позволите пробыть у вас три—четыре дня, когда пройдет эта горячка вылавливания евреев, я—спасен. За золото я куплю себе новый паспорт.

—Я очень рад, что моя роль сводится всего на всего к «пассивной» защите. В эту комнату кроме меня никто не войдет. С завтрашнего дня я буду вас в ней запираТЬ.

—Больше мне ничего не нужно. За вас я буду всю жизнь молить своего еврейского Бога, если Он нас... еще не оставил.

Поутру гнали евреев в гетто. Применяли на практике «расовую теорию». Женщин и детей—на Слободку, за проволоку. Мужчин—в Бирзулу. Слезы горячие леденели на 25-ти градусном морозе. Любители сильных ощущений провожали евреев с гиканьем. Бабы подбегали и плевали им в лицо, приговаривая:

—Забыли, как нас раскулачивали и босыми гнали в Сибирь. Теперь—на нашей стороне праздничек.

—Ничего. Вы сейчас купаетесь в нашей крови, а вот вернутся коммунисты, так по вашей крови на парходе поплывут!

На лютом морозе голова в жару горела. Рухнули троны. Унали «цепи»

Войны. Революции... все для блага народа, а народу все хуже и... хуже.

«Кручиада контра коммунизмулуй» [Крестовый поход против коммунизма] объявили румыны. Бьют, гонят и убивают евреев. Ненависть и месть.

Люди заговорили на разных языках. Заповеди забыты. «Вавилойскую башню» подпирают «доктринами».

Сим не победиши...

Приближалось Рождество. Городская жизнь быстро налаживалась. Восстановили водопровод, взорванный на Беляевке, электрическую станцию и другие городские предприятия. Обыватели постепенно выползали из своих нор, наполняя открывшиеся кафе, рестораны, закусочные, кондитерские. После трехмесячной осады, одесситы хотели жить.

Русскими рабочими руками румыны восстанавливали усиленным темпом порт и поднимали добычу со дна морского. Гавань была покрыта небывало толстым, полуметровым льдом. Но это не мешало. Лед пилили, делали проруби, в которые спускали водола-

зов. Мокрые льдины, сложенные возле проруби и освещаемые холодными солнечными лучами, блестели бирюзой и аквамарином. Водолаз спущен. По поданному им сигналу «вира» заработал паровой кран. Из проруби поднималась белая машина. Дождем лилась с нее морская вода. А в ней... тросом к сиденью привязанный шофер, чтоб не убежал, и четыре раненых красноармейца лежащих—с забинтованными головами, руками, ногами. Их сбросили в воду, чтоб машина не досталась неприятелю. Во исполнение приказа: «ничего не оставлять, все уничтожить». При эвакуации порта энкаведисты, с пистолетами в руках, гнали людей на пароходы. Строптивых убивали и сбрасывали в море. Своих же! Евреев не трогали, потому что знали, что с оставшимися расправится Гитлер. Вместе с лошадьми сталкивали в воду двуколки со снарядами...

Обо всем этом заговорило дно морское.

Нервы водолазов не выдерживали. Тревожный сигнал подал спущенный

водолаз. Его подняли. Сняли колпак. Он успел только сказать—«я нашел своего сына». И от разрыва сердца скончался. Спустился его товарищ. Отыскал опознанного. Его подняли. На холодном льду лежали отец и сын. Через три дня их похоронили с почестями...

—Гражданин, извиняюсь, господин Андреев—обратился к последнему бригадир портовых рабочих.—Похлопочите у начальства, чтоб рабочим разрешили шабашить в 4 часа, засветло.

—А это почему же?

Бригадир замялся. Будучи как-то стыдлив в движениях, он не знал, что ему делать с руками и что говорить?

—Да говорите же! Что вы меня стесняетесь. Ведь мы же—свои люди.

—Румыны пошаливают. Наших, которые на пересыпи, обижают.

—То-есть как это обижают?

—Как стемнеет, хватают и убивают. Пачпорта отымают.

—Что вы говорите, почему?!

—Говорять... евреям продают.

Андреев судорожно схватился за голову.

—Что с вами, господин Андреев?

—Да... ничего. Голова у меня... что-то сегодня болит: От переутомления... Рабочих отпускайте в четыре! С начальством я переговорю...

Выйдя из порта, Андреев поднялся по белой широкой лестнице и остановился на Николаевском бульваре. Заиндевевший памятник маркиза де Ришелье как-то особенно блестел в медно-красных лучах заходящего солнца. Морская даль влекла Андреева. Солнце, опускаясь в пучину Черного моря, становилось пунцово-красным. В нем была какая-то магнетически манящая сила. Андрееву казалось, что вот он пойдет по морю за уходящим солнцем. Солнцем мертвых. Холодным и безрадостным. И когда оно спустится в бездну, все утопленники всплывут. А новопреставленные, поднявшись во весь рост со дна морского, словно кариотиды, будут подпирать своды ледяные. Румынские «собакевичи» и «коробочки» начнут за злато продавать «мертвые души», убитых ими же, невинных людей.

Из кабачка «Ардял», расположив-

шегоя в ресторане бывшей «Петербургской гостиницы» доносился на улицу через «опарлер» романс Вертинского.

Молись кунак за край-родной,
Молись за тех, кто сердцу мил.
И верю я, настанет час
И солнца луч блеснет для нас...
Когда? Когда же?...

...Ночью Андреева разбудили. Срочное дело. Отправиться со спасательной командой на розыски застрявшего в снежной пустыне, между Николаевым и Джанкоем, транспорта, состоявшего из трех машин с грузом продовольствия. Сопровождавших транспорт было шесть человек. Мороз хватил в 40 градусов. Масло в моторах замерзло, и машины стали. Два матроса отправились в поиск за помощью. Четверо остались с машинами. Помощь пришла слишком поздно. Перестали работать моторы, перестали биться человеческие сердца. Груз, состоявший из консервных банок был найден невредимым. С матросами справились голодные степные волки.

На снегу лежали обглоданные человеческие кости и изорванная в клочья темно-синяя «кригс-марины» униформа...

* * *

... Высший военный трибунал Транснистрии, так окрестили румыны «свою» новую провинцию, лежавшую между Днестром и Бугом и «уже», до исхода войны, с согласия Гитлера аннексированную. Румынские «ученые» историки старались доказать, что эта провинция когда-то «принадлежала» Румынии. Бедная история... все терпит.

— Говорите по-русски, я понимаю. По-порядку и с самого начала—сказал судебный следователь военного трибунала.

Перед ним стоял человек необычайного вида. Он был похож на пещерного человека доисторической эпохи. На нем—ватная стеганная курточка неопределенного цвета, какая-то сизо-серая и такие же штаны, на ногах валенки. В руках он держал шап-

ку рыже-коричневатого цвета с наушниками. Руки его были покрыты корой, пальцы—с длинными закрученными, как когти, ногтями. Лицо, обросшее колючей бородой, было тоже какого-то сизо-серого цвета. Стекляные глаза, опущенные вниз, смотрели украдкой исподлобья. Говорил монотонно и отрывисто.

—Нас было тринадцать. Когда красная армия ушла, мы остались для подрывной работы. Спрятались в катакомбах. И оттуда действовали. Устраивали поджоги, взрывы. Две женщины, которые были с нами, доставали пищу. Так мы жили покуда была связь с землей. Но когда все выходы из катакомб были снаружи замурованы, настали тяжелые дни. Наступала голодная смерть. Начальник нашего отряда обратился к нам и сказал: «Товарищи, мы не должны все умереть от голодной смерти. Мы нужны правительству и партии. Хоть один из нас должен остаться в живых. Поэтому предлагаю жеребьевку. Кто вытянет жребий—тот будет мною заколот. Женщины исключаются». Тяну-

ли жребий. Пал на одного товарища. Его закололи и... съели.

—И вы тоже ели?

—Сначала отказался, а потом... ел.

—Сколько же закололи?

—Двух. Сегодня жребий вытянул я. А когда вытянул, то попросил начальника, чтоб дал мне сроку пять часов, и я найду выход на землю. А если нет, то пусть заколет. Он согласился. Я бродил по катакомбам, и задумал, что если выход найду, то пойду на землю и расскажу всю правду. Пусть меня повесят румыны, а не съедят свои.

—Вы сможете провести в катакомбы представителей власти, чтобы арестовать всю вашу банду?

—Да.

Через несколько часов катакомбы были оцеплены румынскими войсками. Коммунистический подрывной отряд был арестован. Согласно судебнопроцессуальным нормам румынского уголовного кодекса, после допроса арестованных было произведено восстановление картины преступления.

Одесские катакомбы. Они старше самой Одессы. В них еще морские пираты прятали свою добычу. Через них проносили контрабанду византийские и веденецкие гости. А в зиму 1941—42 года в них—румынские власти и одиннадцать коммунистов—людоедов.

Виновные расставлены по местам, на которых в момент преступления они находились. Начальник отряда равнодушно и спокойно показал, как он закалывал «финкой» в самое сердце двух своих товарищей. Как спускал их кровь в особую ямку. Как делил их мясо, а потом... ели. Сырым. Огня не было. Жажду утоляли замерзшей кровью. Мороженым из человеческой крови. Лицо начальника было тупым и круглым. Одет—в меховую медвежью курточку до колен. На голове—кубанка. Говорил заученными «политграмотовскими» фразами.

—Как вы могли убивать своих товарищей? спросил судебный следователь.

—Цель оправдывает средства.

—Какая же у вас цель?

— Осуществление коммунизма во всем мире.

— Какая же была бы у вас коммуна? Ведь поевши своих товарищей, вы остались бы один, а один—коммуны не составляет.

— Я должен был сопротивляться до последнего. И если б остался в живых, то передал бы учение Ленина-Сталина дальше...*

...Катакомбы опустели. Помимо своей воли, Андреев остался один. Он бродил как загипнотизированный. Светлые видения первых христиан явились ему...

* По положению об ускоренном судопроизводстве коммунистов судили в тот же день. Назначенный адвокат от защиты отказался. Прокурор же, перечислив преступные деяния подсудимых, но указав на высокие цели, стоящие перед Крестовым походом против коммунизма" просил о помиловании всех, если они откажутся от пропаганды коммунистических идей и чистосердечно покаются в своих грехах. Все, кроме начальника отряда, раскаялись. Они были помилованы и отпущены на свободу. Начальник отряда остался верен коммунистической доктрине и был расстрелян.

Во времена гонений христиане тоже спустились в катакомбы. Сорок дней и сорок ночей они молились и постились. Выходя на землю, проповедывали Любовь и Всепрощение. То были христиане—Звездою учаясь.

А эти, строители „земного рая“, голод утоляли человеческим мясом, а жажду—замерзшей человеческой кровью. Выходя на землю, проповедывали классовую ненависть и месть. То были доктринеры—Марксом и Дарвиным учаясь...

...Когда Андреев вышел из катакомб, на небесном своде, над грешной землей, зажглась снова и ... снова Вифлеемская Звезда, воссия миру Свет Разума и Истину Вечную...

Сим победиши.

Альпы 1947 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Король оперы	3
2. Красный граф	23
3. Собачья жизнь	47
4. Доктринеры	77

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЭХО»

Художественная литература

- | | | |
|-----------------|---------------------|------|
| 1. С. Есенин | Избр. стих. т. 2-ой | 7 м. |
| 2. Вл. Марков | Стихи | 5 м. |
| 3. А. Немиров | Дороги и встречи | 8 „ |
| 4. В. Дорошевич | Восточн. сказки | 5 „ |
| 5. Ев. Тверской | «Этюды» кн. 1-я | 7 „ |
| 6. Ев. Тверской | «Этюды» кн. 2-я | 7 „ |
-

Политическая литература

- | | | |
|-----------------|------------------------------------|------|
| 1. В. Кравченко | Кто правит Россией
(распродано) | 3 м. |
| 2. Р. Хирч | Канадская афера | 4 „ |
| 3. Ди-Пи | Наш ответ | 2 „ |
| 4. Д. Бернс | Говоря откровенно | 8 „ |
-

Находятся в печати

- 1). Сборник рассказов современных американских авторов.
 - 2). Литературный сборник (рассказы и статьи современных эмигрантских авторов).
 - 3). С. Павлов «Под Южным Крестом» (Австралийские рассказы)
-

Peteris Andrejews

„Fremdsprachige Bücher“

(20) Colle/Hana.

Kronestraße 33

Verlag „ECHO“

Regensburg, Ganghofer-Siedlung,

Brentanostr. 6.

Authorized by EUCOM Civil Affairs

Division APO 757.

Цена 7 марок.